



Елена Кушева

Свет индиго на рассвете

Елена Кушева

Свет индиго на рассвете

<https://litres.ru/74258444>

SelfPub; 2026

Аннотация

Есть запахи, которые въедаются в кожу глубже, чем родная кровь. Для Рена аромат индиго и мокрого хлопка — запах его жизни, предсказуемой, серой, как пепел. Каждый день он погружает руки в чаны с краской, наблюдая, как ткань впитывает цвет, навсегда меняя свою суть.

Однажды, заглянув в стоячую воду бадьи для полоскания шелка, Рен нарушает древний закон: он слишком долго смотрит на того, кто живет по ту сторону зеркала. Из тьмы к нему тянется крошечная золотая лодочка света, и путник из Бездны поднимает свой фонарик, встречаясь с ним взглядом. В этот миг рвется тонкая пленка между мирами. Теперь он «мальчик без тени», который связан с лисом-кицунэ Широ — болтливым, насмешливым духом с острыми ушами и хвостом.

«Свет индиго на рассвете» — это гипнотическое путешествие на стыке магического реализма и японского фольклора, где переплетаются две жизни одного сердца.

Откройте первую страницу. Свет индиго уже просачивается сквозь бумагу, а вода в вашей чашке вот-вот пойдет рябью.

Елена Кушева

Свет индиго на рассвете

Глава 1. Игра разума

Каждое утро Рена начинается с густого аромата закваски и мокрого хлопка — запаха настолько привычного, что он давно перестал быть запахом и превратился просто в воздух, которым дышат здесь все и всегда. Красильня на окраине старого города просыпается вместе с первыми петухами: сначала в темноте зажигаются жаровни под чанами, потом из распахнутых ворот вырывается пар, и переулочек окутывается туманом, пропитанным индиго, — синим, как сны перелётных птиц.

Рен работает подмастерьем уже третий год. Его дни текут размеренно, словно широкая равнинная река, которая давно забыла о порогах и излучинах и просто несёт себя вперёд — спокойно, неотвратно, без лишних вопросов.

До полудня он погружает в дымящиеся чаны тяжёлые, непослушные мотки ткани. Длинные деревянные шесты скользят в руках, намоченные полотна тянут вниз, и каждый рывок отдаётся в плечах тупой, привычной болью. Руки у Рена давно стали синими по самые локти — краситель въедается в кожу глубже, чем любое воспоминание, глубже, чем любая клятва. Потом мотки отжимают, встряхивают и разве-

шивают на длинных бамбуковых жердях, протянутых через весь двор. На ветру влажные полотна надуваются и опадают, надуваются и опадают — и весь двор превращается в живое синее море, в котором колышутся тяжёлые волны крашеного шёлка и хлопка, а ветер гоняет между ними призрачные брызги.

Обедает Рен прямо на деревянном крыльце. Усаживается, вытягивает гудящие ноги, достаёт из тряпицы горячую паровую булочку с пастой из красных бобов — она всегда чуть сплюснута с одного бока, и долго жуёт, запивая терпким чаем из шербатой кружки. Цикады стрекочут в густой листве старого тута за забором — монотонно, неустанно, как маленькие счётчики времени, которым никогда не переполниться. Рен слушает их и не думает ни о чём особенном. Обычная жизнь, сотканная из привычных забот и стойкой синей краски, которая не отмывается даже щёлоком, — крепкая, нехитрая ткань без рисунка.

Ближе к сумеркам работа стихает. Мастер уходит в контору считать дневную выручку, подёнщики разбредаются по домам, и двор пустеет, как театр после последнего действия. Остаётся только Рен — убрать инструменты, накрыть чаны, выполоскать финальные отрезы шёлка перед тем, как вечерняя прохлада схватит их морщинами.

Для полоскания посередине двора стоит широкая бадья — старая, разохшаяся по краям, но верная. За день в неё натекает чистая вода из бамбукового жёлоба, и к вечеру она

успевает отстояться и успокоиться. Эта деревянная чаша похожа на застывшее озеро тишины, случайно очутившееся посреди засыпающего мира, — маленькое, замкнутое, хранящее внутри свою отдельную вселенную.

Рен опускается на корточки перед бадьёй и замирает.

Он собирался просто проверить, достаточно ли воды. Но вместо этого — смотрит. Долго. Бездумно поначалу, как смотрят в огонь или в текущий дождь.

Вода в бадье густая и тёмная, словно жидкая смола, в которой медленно растворяется вечер. На её поверхности дрейфуют золотые лодочки опавших листьев гинкго — лёгкие, плоские, похожие на маленьких вестников осени, которые никак не могут решить, куда плыть. Рен видит в воде своё отражение: усталое лицо, синие по локоть руки, кусочек темнеющего неба за плечами, первую одинокую звезду, проколовшую сумерки, как игла прокалывает шёлк. Всё это лежит в тёмной воде спокойно и точно, как в незамутнённом зеркале.

И вдруг зеркальная гладь воды даёт едва заметную трещину.

Рен не сразу понимает, что именно изменилось. Просто внутренний холодок пробегает по позвоночнику — тихий, острый, как первый глоток ледяной воды после жары. Он вглядывается пристальнее. Под отражением звезд и усталого лица не чувствуется дна — вместо него сгущается бездна, глубокая и чёрная, как бездонном в колодце.

По ту сторону тончайшей поверхностной плёнки — этого невидимого стекла между двумя мирами — медленно сгущаются чернильные сумерки чужого пространства. Рен задерживает дыхание. Лёгкие сжимаются, как кулак.

Один из плавающих листьев гинкго слегка вздрагивает.

Не от ветра. Ветра нет.

К подводной стороне листа — к его блестящей изнанке, обращённой в ту, нижнюю тьму — снизу прикасаются крохотные ноги. Рен видит сначала только их: маленькие, аккуратные, обутые в соломенные сандалии. Потом — фигуру целиком. Человечек в широкой соломенной шляпе и дорожном плаще, потёртом на плечах, как будто его хозяин прошёл очень долгую дорогу. В руках у него крохотный фонарик — не больше светлячка, но свет от него живой и тёплый, золотой, как мякоть спелого юдзу.

Маленький странник идёт по изнанке воды так уверенно, словно давно знает этот путь. Лист гинкго прогибается под его весом самую малость — и золотой свет мягко озаряет прожилки, просвечивает сквозь тонкую кожицу листа, делая его похожим на фонарь. Путник переступает с этого листа на следующий, словно пересекает подвесной мост над пропастью, — неспешно, осторожно, без суеты. Он прокладывает свой тайный путь сквозь водную границу, и эта граница принимает его, не морщась, как принимают старого знакомого.

Потом он останавливается. Приподнимает фонарь. И смотрит вверх. Прямо в расширенные глаза Рена.

Между ними — только плёнка воды, тонкая, как рисовая бумага. Странник смотрит снизу, юноша смотрит сверху, и расстояние между ними измеряется не вёрстами, не локтями — а чем-то другим, для чего Рен не знает слова. Фонарик в руке путника горит ровно и спокойно. Лицо под соломенной шляпой — крошечное, неразличимое — всё равно кажется Рену внимательным. Серьёзным. Как будто этот визит давно был назначен.

Рен судорожно втягивает воздух — и невольно моргает.

Лёгкий вечерний порыв ветра пробегает по двору, треплет развешенные полотна, гонит по земле пыль и труху. Вода в бадье вздрагивает, идёт мелкой рябью — и зеркало рассыпается. Отражение разлетается на тысячи бессмысленных осколков: звезды множатся и гаснут, лицо Рена распадается на рябь, золотые листья гинкго разбегаются в стороны, закручиваются маленькими воронками. Силуэт исчезает — мгновенно, без следа, словно его никогда и не было, словно вода просто пошутила над усталым юношей.

Рен медленно поднимается. Колени немного дрожат — от долгой работы на корточках, объясняет он себе сразу же, ещё прежде, чем успевает испугаться по-настоящему. Он трёт глаза перепачканными в индиго пальцами, щурится, вглядывается в деревянное дно бадьи. На дне — только обычные соринки, намокший лепесток, тонкая прядь хлопка. Никакой бездны. Никакого странника. Никакого фонарика.

Сердце колотится у самого горла, как пойманная птица.

Показалось, — думает Рен, и эта мысль приходит быстро, услужливо, как хороший слуга, который знает, что нужно хозяину. Просто переутомился. Едкий запах красителей, жара, долгая работа — вот и весь ответ. Разум играет в странные игры, когда его слишком долго держат над чанами с индиго.

Рен усмехается — коротко, нервно. Качает головой. Разворачивается к дому.

Но на пороге всё-таки оборачивается.

Бадья стоит в сумерках молча и темно. Листья гинкго снова лежат на воде спокойно — золотые, неподвижные, безмятежные. Вода густеет в наступающей ночи, становится непрозрачной, как лак. Ничего не видно. Ничего не происходит.

И всё равно Рен долго смотрит на неё — долгим взглядом, полным сомнения, который не умеет врать самому себе, — прежде чем наконец войти в дом и задвинуть за собой дверь.

Глава 2. Веретено границ

Следующее утро прокралось в мир на цыпочках, возмущенное хриплым торжеством петухов и монотонной дробью бамбуковых жердей о каменную ограду — звуки, из которых соткано полотно обыденности.

Рен поднялся с циновки, еще хранившей тепло его тела, с хрустом разминая шею, затекшую так, словно он всю ночь спал в неудобной позе, силясь разглядеть что-то важное и

вышел умыться к колодцу во дворе. Холодная вода обрушилась на лицо крохотным водопадом, смывая липкую паутину беспокойного сна, в котором крошечные фонарики плыли под кожей его ладоней, как светлячки в молоке, пульсируя изнутри тревожным, манящим светом.

Хозяин красильни уже гремел крышками чанов, словно выстукивал утро из звуков, выкрикивая распоряжения голосом, от которого воздух становился гуще. Рен кивнул – привычный жест покорности судьбе – натянул рабочую куртку цвета выцветшей сливы, той грустной стадии, когда краска сдается времени, и принялся за дело. Руки двигались сами, заученным танцем ремесленника: опустить ткань в чан, отжать, развесить. Но голова была занята другим – мысли крутились, как веретено, возвращаясь снова и снова к образу маленького путника под водой, к его одинокому фонарику, горящему вопреки всем законам разума.

К полудню, когда солнце взобралось на трон зенита и правило миром безжалостно, Рен получил короткую передышку – подарок, который хозяин преподнес, сам того не зная. Его отправили в торговый квартал за новой партией квасцов. Рен взял плетеную корзину, и вышел на улицу, где дневное светило превратило отполированные сотнями тысяч шагов булыжники в россыпь раскаленных углей, по которым люди суетливо спешили, не замечая ожогов на ступнях босых ног.

Он купил жареные каштаны у уличного торговца – старика с лицом, испещренным морщинами, как древняя карта,

– обменялся парой фраз с соседским мальчишкой, который тащил на спине связку хвороста, словно собственную судьбу. Обыденность мира окутала его, как мягкое одеяло из овечьей шерсти, соткала кокон из привычного и безопасного, убаюкивала: всё хорошо, всё как всегда, ничего не изменилось.

Но изменилось.

Рен шел знакомым маршрутом – дорогой, которую его ноги знали лучше, чем он сам, – но вдруг они взбунтовались. Словно невидимая рука – мягкая, но непреклонная – подтолкнула его в узкий переулок между двумя складами, куда даже солнечный свет входил с опаской. Юноша нахмурился, попытался вернуть контроль над собственным телом, развернуться на правильную дорогу, но ноги его не слушались. Они несли его глубже, словно знали тайну, которую голова упрямо отказывалась признать, – в лабиринт старых улочек, где черепичные крыши толкают друг друга остроконечными боками, соперничая за каждый вздох пространства под равнодушным небом.

Воздух здесь сгустился, стал вязким, насыщенным запахом сырости и чего-то сладковато-приторного, похожего на перезрелые персики, которые вот-вот перейдут грань между спелостью и гниением. Рен остановился перед аркой, увидев дикий виноград, который вплел свои зеленые пальцы в камни. За ней открылся крошечный внутренний дворик, о существовании которого он никогда не подозревал, хотя

прожил в этом квартале всю свою короткую жизнь. Как можно было пропустить целый мир?

Посреди двора, как черная жемчужина в раковине забвения, стоял колодец.

Не обычный деревенский колодец с воротом и ведром, где женщины сплетничают, а дети играют. Этот был сложен из черного камня, отполированного до зеркального блеска, до такой степени, что в нем отражалось не только небо, но и что-то еще – что-то глубже неба, темнее. Над колодцем навис старый гранат, скрюченный временем, ветви которого были усыпаны плодами, и плоды эти светились изнутри мягким, неземным светом, как крошечные фонарики, пойманные в красную плоть.

Сердце Рена пропустило удар, споткнулось о собственный ритм.

Фонарики. Как тот, что держал маленький путник под водой, как маяки во внезапной ночи, которой не должно быть днем.

Юноша сделал шаг вперед – его ноги снова решали за него. На краю колодца встрепенулась ворона, перья которой блеснули в скупом пятне солнечного света глубоким синим цветом индиго, тем самым оттенком, который рождается в чане в священный момент, когда краска только схватывается на ткани, еще не решив, останется ли навсегда.

Птица повернула голову резким, механическим движением, и один ее глаз – круглый, золотой, невыносимо разумный

– впился в Рена, как нож в мягкое дерево.

– Редкие гости приходят к Колодцу Отражений, – произнесла ворона голосом, похожим на скрип старых половиц в пустом доме, на шепот забытых историй. – Особенно те, кто не знает дороги. Особенно те, кого дорога сама выбирает.

Рен замер, превратившись в статую из плоти и страха. Говорящие животные и птицы в городе, где легенды о духах и быт смешались, как вода и вино, были как часть пейзажа, вроде фонарей и торговцев.

Кожа Рена покрылась мурашками, словно сотни крохотных лапок пробежали по рукам и спустились по позвоночнику к пяткам. Что-то в этой вороне было его пугало. Что-то древнее. Что-то знающее.

– Я... заблудился, – выдавил Рен, и голос его прозвучал жалко даже для собственных ушей.

– Заблудился, – эхом повторила ворона, и в этом повторе было издевательство мудрости над невежеством. – Нет, мальчик-красильщик, чьи руки пахнут индиго и отчаянием. Ты не заблудился. Ты нарушил.

– Что? – Слово вырвалось хрипло.

Птица расправила крылья – медленно, торжественно – и размах их заслонил половину неба, превратил день в сумерки.

– Вчера на закате, когда мир балансирует на грани между светом и тьмой, ты смотрел в стоячую воду дольше, чем позволено смертным, чьи глаза не должны видеть слишком мно-

го. Смотрел, пока граница между мирами не истончилась, как высохшаяся ткань. Смотрел, пока житель Бездны не заметил твой взгляд, не почувствовал тепло твоего любопытства. – Ворона наклонила голову, изучая его, как энтомолог изучает бабочку на булавке. – Знаешь ли ты правило, мальчик? Когда видишь то, что скрыто от глаз, – отведи взгляд. Не задерживайся. Не привлекай внимания того, что живет в складках реальности. Но ты задержался.

Рен почувствовал, как пересохло во рту, язык превратился в кусок пергамента.

– Я не знал... – начал он, но слова рассыпались в прах.

– Незнание не отменяет последствий, – отрезала птица, складывая крылья с хрустом, похожим на переворачивание страниц в книге судеб. – Это не оправдание, а просто констатация твоей беспомощности. Ты задержался. Ты позволил путнику увидеть тебя – не тело, а суть. И теперь нить протянулась, невидимая, но крепкая, как волос утопленницы. Связь установлена. Бездна запомнила твое лицо, запечатлела его в своей бесконечной памяти.

Юноша отступил на шаг, инстинкт самосохранения проснулся, заорал внутри: беги, глупец, беги!

– Что... что мне делать? – голос дрогнул, сломался пополам.

Ворона каркнула, и этот звук был неожиданно похож на сочувствие – такое же темное и бесполезное.

– Колодец даст ответ. Загляни в его зеркало.

– Нет, – помотал головой Рен, и волосы хлестнули по щекам. – Я не хочу... не хочу знать...

– Хотеть или не хотеть уже неважно, – произнесла ворона с усталостью того, кто повторял эти слова сотни раз разным глупцам. – Это роскошь тех, кто не нарушал. Ты нарушил закон Бездны – неписанный, но древний, старше камней этого города.

Ноги Рена двинулись сами, ведомые силой, которая была одновременно извне и изнутри. Он подошел к чаше колодца, пальцы – дрожащие, непослушные – сжали холодный полированный камень, и холод этот был абсолютным, он высасывал тепло из плоти, обещая забвение.

Рен осторожно, как заглядывают в гроб, заглянул внутрь. Внизу не было воды – того простого, понятного вещества, которое утоляет жажду и отражает лица. Там клубилась густая темнота, живая, дышащая, похожая на туман, сотканный из измельченной ночи и чужих снов. И в этой темноте мерцали огоньки – десятки, сотни, тысячи крошечных фонариков, словно целый перевернутый город подвешен в пустоте, город теней и шепотов, который существует параллельно, касаясь иногда реального мира кончиками пальцев.

Вдруг из глубины, из самого сердца тьмы, поднялось что-то сияющее. Оно плыло сквозь туман вверх, медленно, невесомо, словно перышко в мертвом штиле, словно воспоминание всплывает из забвения.

Рен, сам не зная зачем, не понимая импульса, протянул

руку – рука двигалась, как во сне, отдельно от воли. Вещь коснулась его ладони – легкая, почти невесомая, но прикосновение ее обожгло холодом. Рен сжал пальцы в инстинкте обладания и отступил от колодца, зажав добычу в кулаке.

На его ладони, лежало веретено.

Маленькое, вырезанное из темного дерева, почти черного – цвета обугленных костей, цвета полуночи без звезд. На боку была выгравирована спираль, та же самая, что он видел на плавающих листьях гинкго, древний символ, значение которого утеряно, но сила осталась.

Веретено венчала капелька янтаря, застывшая слеза древнего дерева, внутри которой замерла крошечная искорка света – живая, пульсирующая. Фонарик. Совсем как тот, что нес путник в своем одиноком странствии под водой.

– Что это? – прошептал Рен, не в силах оторвать взгляд от предмета, который притягивал внимание, как омут притягивает утопленников.

Ворона спрыгнула с края колодца легко, бесшумно и подошла ближе, цокая когтями по камням – звук, похожий на отсчет времени.

– Веретено Границ, – ответила птица, и голос ее стал торжественным, как у жреца, объявляющего пророчество. – Очень старая вещь. Очень редкая. Видишь огонек внутри янтаря? Это частица Бездны, осколок того мира, который не должен касаться этого. Пока она в веретене, ты связан с тем миром невидимой нитью. Нить протянута от твоего сердца

к сердцу тьмы. И ты должен решить – обрезать ее, рискуя всем, или следовать, куда она ведет, рискуя еще больше.

Рен испуганно встряхнул рукой, пытаясь швырнуть веретено обратно в колодец, избавиться от проклятого предмета, но пальцы отказались разжиматься, словно срослись с деревом. Предмет прилип к коже, стал частью ладони, врос в плоть, как заноза вырастает в палец.

– Забери его! – голос парня сорвался на крик, эхо которого разбилось о стены двора и упало осколками к его ногам. – Я не просил! Не хотел! Верни все обратно!

Ворона наклонила голову, сверкая ободком золота вокруг глаза – древнее золото, холодное, как презрение богов.

– Оно тебя выбрало, – медленно произнесла птица, и каждое слово падало, как камень в колодец, тяжелое от неизбежности. – Или ты его. Или вы выбрали друг друга в тот момент, когда твой взгляд задержался на путнике. Теперь уже не имеет значения, кто был первым. Выбор совершен.

Веретено мягко пульсировало в ладони Рена – живое, теплое, дышащее в ритм его испуганному сердцу. Янтарная капелька вспыхнула ярче, как тлеющий уголек, на который подули, и юноша вдруг увидел внутри огонька крошечный силуэт, четкий, несмотря на размер. Человечек в соломенной шляпе поднял фонарь в приветствии – жест одновременно дружелюбный и пугающий своей нереальностью.

Страх вскипел в груди Рена горячей и едкой смолой, заполнил легкие, не оставив места воздуху. Он посмотрел на

веретено – проклятие в своей руке, – на ворону – древнего вестника, – на светящиеся плоды граната над головой – маленькие солнца чужого мира. Мир, в котором он проснулся этим утром, мир красильни, чанов, обыденных забот – вдруг показался таким далеким, словно прошли не часы, а целые годы, словно между тем утром и этим мгновением легла пропасть времени.

– Что мне теперь делать? – прошептал он голосом, чужим и испуганным, голосом ребенка, потерявшегося в темном лесу.

Ворона расправила крылья – величественно, как занавес в конце представления – и впрыгнула на край колодца.

– Слушать веретено, – произнесла она, и в голосе звучал приговор. – Идти, куда укажет нить, даже если дорога ведет в пасть тьмы. И помни, мальчик-красильщик, – ты сам заглянул туда, куда не следовало смертным с любопытными глазами. Сам задержался слишком долго, когда мудрость шептала отвернуться. Последствия нарушенных правил всегда находят дорогу, всегда. Они терпеливы, как камень, и неизбежны, как смерть.

Птица взмахнула крыльями – один взмах, второй – и исчезла за аркой, растворившись в воздухе, оставив Рена одного посреди двора, который вдруг стал казаться ловушкой, клеткой без видимых прутьев. Светящиеся гранаты потускнели, словно кто-то задул свечи, и вода в чаше колодца пошла рябью, хотя ветра не было.

Рен стоял, сжимая веретено так крепко, что костяшки пальцев побелели и заныли тупой болью, как кости старика перед непогодой, как предчувствие бури. Часть его – разумная, трусливая часть – хотела бежать, вернуться в красильню, к чанам с индиго, к привычному миру, забыть, выбросить проклятый предмет, разбить его, сжечь, уничтожить. Но другая часть – темная, любопытная, та самая часть, которая заставила его смотреть на путника слишком долго, – шептала настойчиво, соблазнительно: «Посмотри. Узнай. Разве ты не хотел, чтобы жизнь была больше, чем чаны и циновка?»

Веретено пульсировало в ритм его сердца, и крошечный огонек внутри янтаря разгорался все ярче, словно маяк в крошечной темноте, указывая дорогу туда, где карты кончаются, а неизвестность манила и пугала одновременно.

Рен вдруг понял с ледяной, кристальной ясностью, которая режет острее любого ножа, – его размеренная жизнь, предсказуемая, как смена времен года, закончилась в тот самый момент, когда он не отвел глаз от маленького путника под водой. Та жизнь умерла, не попрощавшись. Теперь начинается что-то другое. Что-то опасное, как хождение по краю пропасти. Что-то неотвратимое, как приход зимы. Что-то, от чего нельзя спрятаться в красильне, среди знакомых запахов и лиц.

Веретено в его руке было не просто предметом. Это был ключ. Или проклятие. Или и то, и другое одновременно – как лезвие, которое режет с обеих сторон.

Глава 3. Шелк памяти

Рен вернулся в красильню, когда небо над городом превратилось в надтреснутую чашу из тончайшего фарфора, залитую густым, вязким соком заката – кровью умирающего дня. Корзина с квасцами давила на плечо тяжестью, но еще тяжелее, невыносимо тяжелее, весило веретено, спрятанное за пазухой. Оно пульсировало там, как второе сердце – чужое, древнее, полное непонятной тоски, которая просачивалась в его собственную грудь, окрашивая мысли в цвета печали.

Хозяин красильни уже ушел по своим делам, растворившись в лабиринтах города, как краска растворяется в воде. Двор оказался пуст, его населяли только тени и запахи. Рен прошел мимо чанов с краской индиго, дремавшей в них, темное и глубокое, как ночное небо, пойманное в глиняные объятия, мимо развешанных полотен, которые на вечернем ветру вздымались и опадали, словно паруса призрачных кораблей, отправившихся в плавание по воздушному океану. Добрался до своей каморки в дальнем углу двора – крошечной комнатухи, больше похожей на клетку для птицы, чем на жилище, с циновкой на полу, истертой до прозрачности, и единственным окном, выходящим в заросший бамбуковый садик, где стебли шептались между собой о своих бамбуковых тайнах.

Рен опустился на колени и достал веретено дрожащими пальцами.

В сгущающихся сумерках, когда день и ночь борются за владычество над миром, янтарная капля на его конце светилась мягким медовым светом – теплым, живым, притягательным, как свет в окне родного дома в метель. Юноша положил артефакт перед собой на циновку с осторожностью, с которой кладут на алтарь приношение неизвестному богу.

– Кто ты? – шепнул он в тишину, густую, как мед, как вода в стоячем пруду. – Зачем пришло ко мне? Что хочешь от красильщика, который знает только цвет индиго и усталость в конце дня?

Веретено вздрогнуло, едва заметно, как вздрагивает струна перед тем, как запеть. Искорка внутри янтаря вспыхнула, разливаясь жидким золотом по стенам каморки, превращая убогое жилище в шкатулку, полную света. Рен отшатнулся инстинктивно, но свет уже настиг его, окутал, как кокон, проник в глаза, ослепляя и открывая одновременно, в уши, наполняя их гулом, похожим на прибой далекого моря, в самую глубину сознания, туда, куда не проникает дневной свет. Мир вокруг растворился, как сахар в горячей воде, – бесследно, окончательно.

Рен оказался посреди огромного зала – пространства, которое казалось больше, чем весь город, в котором он прожил свою короткую жизнь. Потолок потерялся где-то в немисли-

мой вышине, затянутый клубами благовонного дыма – сандал, мирра, что-то еще, незнакомое, но опьяняющее.

Дым двигался, словно живой, скручиваясь в фигуры драконов и птиц, которые тут же распадались и рождались заново. Стены украшали панели из резного кедра, темного, как старое вино, на которых искусные мастера – нечеловеческие мастера, судя по совершенству работы – вырезали сцены из жизни богов и духов: битвы, пиры, любовь и предательство, рождение миров и их закат.

Пол блестел полированным камнем, холодным и гладким, как поверхность замерзшего озера в безветренный день, отражая свод потолка так, что казалось, будто зал висит в пустоте между двумя небесами.

В центре зала, стоял ткацкий станок.

Огромный, невероятно сложный, сплетенный из белого кедра. Того самого, которое растет, по легендам, только в садах Лунной богини – дерева, которое источало мягкое свечение, как будто впитало в себя лунный свет и теперь возвращало его миру по капле.

На станке были натянуты нити – тончайшие, почти невидимые, воздушные паутинки, но в их переплетении, в их бесконечно сложном танце угадывались узоры звездного неба, изгибы рек, силуэты гор и шепот лесов. Кто-то создавал саму реальность на этом станке, ткал полотно бытия. И этот кто-то сидел перед ним сейчас, склонившись над работой, как молящийся склоняется перед святыней.

Женщина. Она была облачена в белое кимоно цвета первого снега, украшенное вышивкой из серебряных журавлей, которые, казалось, вот-вот взмахнут крыльями и улетят, разрывая ткань в клочья.

Ее волосы – черные, как ночь без луны – собраны высоко и проколоты длинными шпильками из нефрита, зелено-го, как весенняя трава после дождя. Она склонилась над работой с такой сосредоточенностью, что мир вокруг нее, казалось, перестал существовать, и ее пальцы, длинные, изящные, нечеловечески совершенные, порхали меж нитей с такой скоростью, что Рен едва успевал уследить за движением, видел только серебристое мелькание, слышал только тихое пение нитей.

Рен, затаив дыхание, увидел, как тени за ее спиной искажаются, живут своей жизнью, удлиняются, как пальцы вечера, обретают форму и субстанцию – становятся крыльями. Огромными, призрачными, но реальными крыльями, похожими на крылья журавля, сотканными из света и воздуха. А когда она повернула голову, медленно, грациозно, как поворачивается цветок к солнцу, – юноша заметил, что ее глаза слишком большие для человеческого лица, слишком темные, бездонные, и в них отражалась бесконечность ночного неба, усеянного звездами, которых никто из смертных никогда не видел.

Цуру-онна. Дух-журавль, принявший человеческий облик – древняя легенда, ставшая плотью.

– Еще немного, – шептала она сама себе голосом, похожим на звон хрустальных колокольчиков на ветру, и в этом шепоте звучала усталость, которая старше гор. – Еще один узор, еще одна нить, и полотно завершится. Еще чуть-чуть, и я смогу остаться.

Рен сделал шаг ближе – бесшумно, как призрак, потому что он уже понял, что находится в видении, что его присутствие здесь призрачно, что он только тень, наблюдающая за чужой жизнью сквозь щель в двери времени. Но не мог, не мог отвести взгляда от того, что делала женщина-журавль, от того чуда и ужаса, что рождалось под ее руками.

На станке рождалось кимоно.

Самое прекрасное кимоно, которое когда-либо видел мир, и те миры, что лежат за его пределами. Ткань переливалась всеми оттенками рассвета, когда небо не может решить, каким цветом расцвести, от нежно-розового, как внутренняя сторона лепестка, до золотого, как первый луч солнца, коснувшийся вершины горы. В узоре сплетались цветы сакуры – каждый лепесток отдельный, живой, почти дышащий, – горные реки, в которых можно было различить движение воды, и летящие журавли, застывшие в момент взмаха крыла. Но главное, и Рен чувствовал это всей кожей, всем сердцем, в каждую нить было вплетено что-то большее, чем мастерство. Магия? Любовь? Сама жизнь? Или все вместе – сплав настолько драгоценный, что для него не существовало названия на языках смертных.

Дверь, высокая, резная, украшенная изображениями пионов, тихо отворилась, так тихо, словно боялась нарушить священное таинство творчества. В зал вошел мужчина. Молодой, с простым, открытым лицом крестьянина, обветренным и честным, в поношенной одежде дровосека – грубой ткани, заштопанной во многих местах. Он нес в мозолистых руках связку хвороста и остановился на пороге, словно невидимая стена преградила ему путь, словно побоялся потревожить мастерицу, разрушить хрупкую концентрацию, которой был наполнен воздух.

– Цуру, – тихо произнес он, и в его голосе звучала боль, глубокая, как колодец, старая, как его любовь. – Пожалуйста, остановись. Прошу тебя.

Женщина не обернулась. Ее пальцы продолжили свой неустанный танец меж нитей, словно если она остановится, то умрет.

– Почти закончила, – ответила она, и голос ее звучал устало – усталостью того, кто отдает последние силы. – Еще чуть-чуть. Еще несколько рядов, и я смогу надеть его. И тогда я останусь. Навсегда.

– Ты обещала не делать этого, – мужчина опустил хворост – он упал с глухим стуком, как падает надежда – и подошел ближе, шаги его были неуверенными, как шаги человека, идущего по краю пропасти. В его глазах плескалась боль, смешанная с любовью, и эта смесь была невыносима для взгляда. – Обещала, что не будешь вплетать свои перья

в полотно. Ты же знаешь, что будет. Знаешь цену.

— Знаю, — женщина наконец остановилась, руки замерли в воздухе, как птицы, внезапно потерявшие способность летать, и повернулась к нему. Лицо ее было бледное, почти прозрачное, как рисовая бумага, сквозь которую просвечивает свет. Под кожей проступали тонкие серебристые линии, похожие на узор перьев. — Но это единственный способ остаться с тобой. Единственный способ быть не духом, а женщиной. Твоей женщиной.

Рен, зажав ладонью рот, чтобы не закричать, увидел то, что скрывали длинные рукава ее кимоно. Из-под шелка торчали перья. Белые, тонкие, дрожащие, как живые существа, пытающиеся вырваться на свободу. И он увидел, как она медленно, с болью, искажающей прекрасное лицо, выдергивает их одно за другим, и каждое выдернутое перо оставляет на коже крошечную каплю крови, похожую на рубин, и вплетает в ткань. Каждое перо превращается в серебряную нить — живую, светящуюся, — которая исчезает в узоре кимоно, становясь частью невозможной красоты.

— Когда кимоно будет готово, — продолжала она, и слова давались ей с трудом, как будто каждое слово она вырывала из собственной плоти, — я смогу носить его. И пока оно на мне, я буду человеком. Полностью. Без крыльев, без зова неба, который рвет душу каждую весну и осень. Я смогу остаться здесь. С тобой. Родить тебе детей. Состариться рядом. Умереть в твоих объятиях.

Мужчина покачал головой.

– Но ценой станет твоя истинная суть! – голос его сорвался на крик, эхо которого ударилось о высокий потолок и вернулось, принося с собой боль. – Ты перестанешь быть собой! Ты перестанешь быть *журавлем*, перестанешь быть той, кого я полюбил!

– Я стану той, кем *хочу* быть, – в голосе женщины прозвучало упрямство – железное, негибкое, как клинок, закаленный в слезах. – Разве это не важнее? Разве любовь не важнее природы?

Он протянул руку в попытке остановить неизбежное, но замер на полпути, пальцы застыли в воздухе, дрожа. Он вдруг понял, что не имеет права. Это ее выбор. Ее жертва. Ее право – уничтожить себя ради любви.

Внезапно, как гнев богов, огромные витражные окна, на которых были изображены сцены полета журавлей в облаках, с оглушительным шумом распахнулись, и ветер ворвался в зал, как разбойник врывается в храм. Он швырнул внутрь лепестки сакуры – тысячи, десятки тысяч лепестков.

Они кружились и падали, словно снег в безветренную погоду, покрывая пол нежным ковром цвета заката и надежды. Свет, тот мягкий, лунный свет, внезапно померк, задушенный тьмой. Воздух загустел, стал вязким, трудным для дыхания, и из стен, из самой ткани реальности, выступили тени, обретая форму и волю.

Духи-хранители. Бесформенные сущности, облаченные в

длинные балахоны цвета пепла, их лица скрывали маски из белой глины, безликие, пустые, страшные своим равнодушием. Они окружили ткацкий станок плотным кольцом, смыкая его, как петлю на шее, и их голоса слились в единый гул, похожий на шум ветра в бамбуковой роще перед бурей, на гудение улья, потревоженного медведем.

– Ты нарушаешь закон, Сестра Небес, – гремели они, и звук этот сотрясал стены, заставлял дрожать пол. – Пытаешься обмануть свою природу, данную тебе в момент творения мира. Пытаешься пленить то, что должно оставаться свободным, как ветер, как облако. Пытаешься стать тем, кем не можешь быть.

Женщина-журавль вскочила, резко, как вскакивает раненая птица. Призрачные крылья за ее спиной раскрылись в полную силу, заполнив собой весь зал, касаясь кончиками перьев стен, и размах их был величественен и страшен.

– Это мой выбор! – крикнула она, и голос ее был голосом бури. – Мое право! Разве я не вольна распоряжаться собственной судьбой?

– Выбор, рожденный из слабости, – ответили духи, и в их голосах не было ни жалости, ни гнева – только холодная, абсолютная уверенность. – Слабости, которую смертные называют любовью. Ты предаешь свою суть, отрекаешься от своего рода ради мимолетного счастья смертного, который проживет и умрет, как умирают все они – быстро и бессмысленно. Ты выбираешь тлен вместо вечности.

Мужчина-дровосек бросился вперед – отчаянно, безрас-судно, с храбростью того, кому нечего терять, заслонив жен-щину собой, раскинув руки, словно мог защитить ее от сил, старше, чем время.

– Оставьте ее! – голос его сорвался на крик, полный боли и ярости. – Если кто и виноват, так это я! Я позволил ей остаться! Я не отпустил, когда должен был! Я полюбил ее, зная, что она не для меня! Заберите меня, но оставьте ее!

Один из духов взмахнул рукой – небрежно, как смахива-ют надоедливую муху. Невидимая сила – удар воздуха, сгу-стившегося до твердости камня – отбросила дровосека к сте-не. Он ударился о резные панели с глухим стуком, тело его обмякло, и он сполз вниз, оставляя на дереве след крови, и остался лежать неподвижно, как сломанная кукла.

– Нет! – женщина сорвалась с места, но духи сомкнули вокруг нее плотное кольцо из теней и холода.

– Твое время в этом мире истекло, как истекает песок в часах, – произнесли они приговор. – Вернись в небо, туда, где твой дом, где твоя стая ждет тебя. Или исчезни навсегда, растворишься в пустоте между мирами, стань ничем.

У Рена перехватило дыхание, воздух застрял в горле, как кость. Он хотел вмешаться, закричать, что-то сделать – хоть что-то, – но его тело не слушалось, было чужим, призрач-ным. Он лишь свидетель. Бессильный зритель чужой траге-дии, разворачивающейся перед ним, как пьеса в театре, где нельзя остановить действие, можно только смотреть и стра-

дать.

Женщина-журавль медленно, словно каждое движение причиняло ей нестерпимую боль, обернулась к ткацкому станку. К недоделанному кимоно, в которое она вложила столько надежд, столько себя, что оно стало больше, чем ткань – стало воплощением мечты. Ее пальцы дрожали, когда она взяла в руки веретено, то самое, что сейчас лежит в каморке Рена, соединяя времена.

– Если я не могу остаться, – прошептала она, и голос ее был тих, как шелест падающего листа, но в нем звучала такая решимость, что духи на мгновение замерли, – то пусть хотя бы моя мечта найдет того, кто сумеет ее завершить. Пусть найдет того, чье сердце больше моего. Чья любовь сильнее.

Она вложила в веретено последний остаток своей силы, всю свою магию, всю свою любовь, всю свою боль. Янтарная капля на его конце вспыхнула ослепительно, поглотив свет ее крыльев – серебристый и чистый, тепло ее любви – жаркое, как летнее солнце, и горечь ее утраты – холодной, как первый снег.

– Найди того, чье сердце знает, что значит жертва, – сказала женщина, обращаясь к артефакту, как к живому существу, наделяя его волей и целью. – Того, кто не побоится заплатить цену за чужую мечту. Того, кто поймет, что любовь дороже свободы.

Она подбросила веретено в воздух, легко, как подбрасывают птицу, отпуская ее в полет, и оно, вспыхнув ослепи-

тельным светом, который заставил Рена зажмуриться, пробило границу миров, как камень пробивает поверхность пруда, и исчезло, оставив после себя только круги на воде реальности.

Духи сомкнули кольцо, окончательно, безжалостно. Женщина-журавль успела бросить последний взгляд на лежащего без сознания дровосека, на мужчину, которого она любила больше собственной природы. В ее огромных, темных глазах была такая тоска, такое горе, что Рен почувствовал, как его собственное сердце сжалось от боли, как сжимается в кулак раненая ладонь.

– Прости, – прошептала цуру-онна губами, которые уже начинали терять цвет. – Прости, любимый, что не смогла остаться. Прости, что была недостаточно сильной. Прости, что любила тебя больше, чем небо.

Тело женщины начало растворяться, медленно, как тает снег под весенним солнцем, – превращаясь в россыпь белых перьев, легких, невесомых, каждое из которых хранило частицу ее сути. Они кружились в воздухе, поднимаясь к потолку, смешиваясь с розовыми лепестками сакуры, и это был танец прощания – прекрасный и страшный. Дровосек очнулся в последний миг, протянул руку, пытаясь поймать хотя бы одно перо, но они ускользали, как ускользает вода, как ускользает жизнь. Его крик – беззвучный, но полный такой муки, что от него треснули стекло в окнах – был последним, что Рен услышал перед тем, как видение начало распадаться.

Рен открыл глаза, резко, как открывают глаза после кошмара, задыхаясь.

Он снова в своей каморке. Стены те же. Циновка та же. Но мир изменился. Или изменился он сам.

Янтарная капля веретена больше не светилась. Она потухла, словно выдохлась после показанного видения, отдав все, что могла. Рен понял, что по его щекам текут слезы, горячие, соленые, чужие и свои одновременно. Он заплакал о женщине, которая пожертвовала всем, своей природой, своей свободой, своим бессмертием ради любви и проиграла. О мужчине, который потерял ее и остался один в огромном пустом зале с недоделанным кимоно, которое превратилось из символа надежды в памятник утрате. О мечте, которая так и осталась незавершенной, висит где-то между мирами, ждет, надеется.

Рен медленно, с благоговением, как берут в руки святыню, взял веретено. Теперь он понял, понял не умом, а сердцем, всей кожей, всей кровью, что это не просто артефакт, не просто древняя вещь. Это последняя надежда существа, которое рискнуло всем и проиграло. Это последний вздох любви, превращенный в дерево и янтарь.

– Ты хочешь, чтобы я закончил твою работу? – прошептал он в тишину, которая больше не казалась пустой, потому что была наполнена присутствием, невидимым, но реальным. – Чтобы я довел до конца то, что ты начала? Сделал то, что ты

не смогла?

Веретено чуть заметно потеплело в его ладони, словно ответ и мольба.

Рен посмотрел в окно, где в темнеющем небе, цвета чернил, разлитых по шелку, загорались первые звезды, холодные, далекие, равнодушные к человеческим страданиям. Где-то там, высоко над облаками, над горами, над всем миром, летают журавли. Может быть, один из них и есть та самая цуру-онна, которая когда-то любила простого дровосека с мозолистыми руками. Может быть, один из них до сих пор помнит тепло его объятий и скорбит, роняя перья в реки, которые несут их к морю.

Юноша прижал веретено к груди, крепко, как прижимают к себе ребенка, как прижимают последнее, что осталось от любимого.

– Хорошо, – сказал он твердо, и в голосе его прозвучала решимость, которой он не знал за собой. – Я попробую. Не знаю, смогу ли, я всего лишь красильщик, мои руки знают только краску, только простые ткани. Не знаю, хватит ли у меня сил, я не маг, не герой из легенд. Но я попробую. Обещаю. Клянусь.

Ветер за окном, который трепал бамбук в саду, внезапно стих, замер, словно мир задержал дыхание. В комнату, нарушая все законы природы, влетел одинокий лепесток сакуры – розовый, нежный, невесомый, хотя до цветения сакуры оставались месяцы. Он кружил в воздухе, танцуя свой одинокий

танец, и опустил прямо на веретено, коснувшись темного дерева. И тут же растаял, как тает снежинка на теплой ладони, оставив на поверхности едва заметный серебристый след.

Рен знал, знал с абсолютной уверенностью, которая не требует доказательств, что это знак. Благодарность духа, который услышал его клятву. Или благословение. Или и то, и другое, дар и проклятие, сплетенные воедино, как нити в ткани.

Его судьба больше не принадлежала ему одному. Теперь она сплетена – туго, навсегда – с чужой болью, которая стала его болью, чужой мечтой, которая стала его целью, и чужой надеждой, которая легла на его плечи тяжестью, превосходящей тяжесть мира. Нить протянута – невидимая, но крепче стали. Путь определен – неясный, опасный, но единственно возможный.

И нет дороги назад. Только вперед – в неизвестность, которая пахнет сакурой и слезами.

Глава 4. Мальчик без тени

Рен не помнил, как уснул, память об этом переходе стерлась, как стирается надпись на песке под дыханием прибоя. Помнил только, как сидел на циновке, прижимая веретено к груди с силой отчаяния, пока последние отголоски чужой боли, острой, древней, бесконечной, не растворились в его собственном сердце и не впитались в него, как влага впиты-

вається в сухую землю.

Слезы высохли на щеках, оставив соленые дорожки, карту его скорби, начертанную на коже. За окном бамбук шептался с ночным ветром на языке, который знают только растения и тени, и этот шепот, мягкий, монотонный, убаюкивающий, звучал почти как колыбельная, которую поет мать ребенку, знающему, что утром его ждет беда.

Веретено пульсировало в его руках, медленно, мерно, успокаивающе, как дыхание спящего ребенка, как бьется сердце птицы, свернувшейся в гнезде. Рен чувствовал, как что-то внутри него, глубоко, там, где рождаются мечты и страхи, откликается на этот ритм, резонирует с ним. Будто две невидимые нити сплелись воедино, переплелись так туго, что их уже не разорвать без крови: одна – его собственная жизнь, размеренная и простая, как течение воды в канале, другая – древняя история любви и утраты, вплетенная в темное дерево артефакта искусными пальцами женщины-журавля, пропитавшая его до самой сердцевины.

Я помогу тебе, – думал Рен, проваливаясь в сон, как проваливаются в колодец, в темноту, которая обещает и покой, и забвение. Обещаю. Клянусь всем, что имею. Я доделаю то, что ты начала. Твоя мечта не умрет.

Его пальцы сжались на веретене крепче – так крепко, что костяшки побелели до прозрачности, до боли, как кости старика перед непогодой. И в этот момент что-то щелкнуло. Не снаружи, не в камерке, не в мире, а внутри, в самой ткани

реальности. Словно тончайшая струна, натянутая до предела, до последней возможности, наконец не выдержала невыносимого напряжения и лопнула с тихим музыкальным звоном – звуком, который был одновременно прекрасен и страшен, как звук разбивающегося хрустали.

Веретено вздрогнуло в его руках, конвульсивно, как вздрагивает тело в момент смерти. Янтарная капля на его конце, потухшая после видения, словно выдохшаяся свеча, вспыхнула ослепительным светом, не мягким и медовым, как прежде, а резким, обжигающим, яростным, как молния, разорвавшая ночное небо на куски, как гнев богов, обрушившийся на землю.

Рен резко проснулся и вскрикнул, звук вырвался помимо воли, и попытался разжать пальцы, инстинкт самосохранения заорал: отпусти, отпусти, пока не поздно! Но было поздно. Поздно стало уже в тот момент, когда он дал клятву. Свет хлынул из янтаря, как вода из прорванной плотины, как кровь из перерезанной артерии, неудержимо, всепоглощающе. Он затопил каморку, заполнил ее до краев, растворил стены, превратив их в прозрачные мембраны, размыл пол, потолок, саму реальность. Мир рассыпался на осколки – тысячи, миллионы осколков, – и каждый осколок отражал другую реальность, другое время, другую судьбу, другую версию того, что могло бы быть.

Последнее, что успел увидеть Рен, прежде чем его поглотила белая пустота, – это трещина, пробежавшая по темному

дереву веретена. Тонкая, почти незаметная, как волосок, но смертельная, окончательная. Древнее заклятие, державшее артефакт в равновесии между мирами, державшее барьер между временами, треснуло под тяжестью его эмоций, под непосильной ношей его искренности. Под весом его клятвы, которая оказалась тяжелее камня.

А потом свет поглотил все – мысли, страх, само существование.

Рен очнулся от запаха благовоний – сандала, мирры, чего-то сладкого и горького одновременно – и звука шелка, скользящего по полированному дереву, нежного шелеста, похожего на шепот влюбленных. Он лежал на полу того самого зала из видения, из чужих воспоминаний, но теперь это было не видение. Высокие потолки, теряющиеся в клубах благовонного дыма, который двигался, словно живой, скручиваясь в фигуры драконов и птиц. Резные панели из кедра, темного и благородного, с изображениями богов, которые смотрели на него пустыми глазами. Ткацкий станок в центре, огромный, белый, величественный, как алтарь в храме, – светящийся изнутри призрачным сиянием, которое не отбрасывало теней.

Но теперь это было не видение, не греза, вызванная древней магией. Рен чувствовал холод камня под ладонями, реальный, пробирающий до костей холод, слышал, как потрескивают угли в курильнице, как они шипят и вздыхают, уми-

рая, ощущал на губах вкус воздуха – терпкий, насыщенный ароматом сандала и сакуры, густой, почти осязаемый.

Я здесь. По-настоящему. Я пересек границу времен.

Юноша медленно поднялся на колени – движения были неуверенными, как у новорожденного олененка. Голова кружилась, словно он слишком быстро встал после долгого сна, словно кровь не успевала добраться до мозга. Он огляделся, пытаясь поверить в реальность происходящего, и замер, дыхание застряло в горле.

Перед ткацким станком сидела женщина-журавль. Та самая. Не призрак, не воспоминание, а живая, настоящая. В белом кимоно с серебряными птицами, вышитыми на рукавах с такой тщательностью, что казалось, будто они вот-вот взлетят. Волосы заколоты нефритовыми шпильками, от которых исходило мягкое зеленоватое свечение. Призрачные крылья за спиной, огромные, белые, прекрасные и едва различимые в мерцающем свете, как различимы облака на фоне молочного неба.

Она ткала. Ее пальцы летали между нитей с нечеловеческой скоростью, со скоростью, которая завораживала и пугала, сплетая узоры рассвета – розовые и золотые переливы, нити горных рек, в которых угадывалось движение воды, и летящих журавлей, застывших в момент совершенства. И Рен видел, видел с ужасом и состраданием, как она выдергивает из-под рукава белое перо, и кожа в том месте краснеет, выступает капелька крови, похожая на рубин, и вплетает пе-

ро в ткань, где оно превращается в серебряную нить, которая исчезает в узоре, становясь частью невозможной красоты.

Женщина вдруг замерла, резко, как замирает струна после удара. Пальцы застыли над работой, превратившись в изящную скульптуру. Медленно, словно боясь спугнуть призрак, словно боясь, что малейшее движение разрушит иллюзию, она обернулась.

Их взгляды встретились.

В ее глазах, бездонных, темных, отражающих звездное небо, которое не принадлежит этому миру, мелькнуло удивление, острое, как удар ножа. Потом страх – древний, инстинктивный. Потом что-то еще, что Рен не смог распознать, но что заставило его сердце сжаться. Надежда? Или отчаяние?

– Кто ты? – прошептала цуру-онна, и голос ее дрожал, как натянутая струна под смычком, готовая порваться в любой момент. – Откуда ты пришел, мальчик? Ты живой или мертвый? Реальный или сон?

Рен открыл рот, но голос застрял в горле, как кость. Он не нашелся, что ответить. Кто я? Мальчик-красильщик из будущего, которого еще нет? Тот, кто дал обещание твоему призраку, твоему эху? Безумец, сломавший барьер между временами силой своего сочувствия?

Прежде чем он успел что-то сказать, выдавить хоть слово, дверь – высокая, резная – распахнулась с грохотом. В зал вошел мужчина со связкой хвороста на плечах. Молодой, с

простым добрым лицом, обветренным и честным, с мозолистыми руками труженика. Тот самый дровосек, которого Рен уже видел в видении, которого он уже оплакал.

– Цуру, я принес дрова для... – он осекся, увидев Рена, остановился как вкопанный. – Кто это? Откуда в нашем доме чужой?

Женщина-журавль поднялась, движение было плавным, текучим, нечеловеческим. Призрачные крылья за ее спиной распахнулись, заслонив половину зала, заполнив пространство своим величием. В воздухе запахло грозой – озоном и электричеством, предчувствием бури.

– Я не знаю, – ответила она, не сводя глаз с юноши, изучая его, как хищная птица изучает добычу. – Но он... он не просто забрел сюда. Он пришел не из этого мира. Не из этого времени. Я чувствую это.

Дровосек бросил хворост, связка упала с глухим стуком, и шагнул вперед, инстинктивно загораживая женщину собой, раскинув руки, словно мог защитить ее от неизвестной угрозы.

– Ты дух? – в его голосе зазвучала сталь, твердость, которую не ожидаешь от простого крестьянина. – Демон, пришедший за моей женой? Посланник тех, кто хочет забрать ее? Отвечай, или я...

– Нет! – Рен попятился, подняв руки в примирительном жесте, ладони вперед, как поднимают руки безоружные. – Я не дух! Не демон! Я... я просто человек! Обычный человек!

Я не хотел... не собирався сюда попадать!

— Тогда как ты здесь оказался? — женщина наклонила голову, и в этом движении проступила хищная грация птицы, охотника, которому не скрыться от взгляда. — Обычные люди не могут пересечь границу времен. Барьер между эпохами не просто переступить, как переступают порог дома. Для этого нужна сила. Магия. Или безумие.

Рен судорожно сглотнул, горло пересохло, язык превратился в кусок пергамента. Что он мог сказать? Что держал веретено слишком крепко, что вложил в него слишком много чувств? Что поклялся помочь ей, и эта клятва — искренняя, отчаянная — разорвала древнее заклятие, как разрывают ткань?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.